

мыков своими братьями, прислушиваются, присматриваются к тому, что делается у калмыков на Волге.

Не секрет также, какую большую антиманджурскую пропаганду развивают большевики в своей печати, усердно рекламируя правителей внешней Монголии, на которую, по сведениям большевиков, то и дело нападают манджурцы.

О "фашистских валадениях" манджуров на Монголию большевики пишут не только в своих столичных газетах, но также и в провинциальных. Так, в одном из номеров астраханской газеты "Коммунист" было напечатано огромное заявление "председателя совета министров монгольской республики". В другом номере той же газеты напечатано такое же заявление-протест "председателя монгольской делегации" — Самбу. А в номере от 26 декабря той же газеты напечатано "Протест Монгольского Правительства" за подлизью "председателя совета министров и министра иностранных дел монгольской народной республики" — Чей-Болсана.

Во всех этих "протестах", сопровождаемых соответствующей советской "приправой", манджуры выставляются в образе страшного волка, пожирающего невинного монгольского агнчика!

Из всего этого (да и без этого было ясно!) явствует, какое огромное значение в настоящее

время имеет для большевиков "монгольский плацдарм", Монголия.

И вот большевики, как отличные пропагандисты, в спешном порядке провозгласили Калмыцкую Республику и затрубили во все советские трубы о счастье, радости и благоденствии калмыцкого народа в "стране трудящихся" под мудрым руководством "величайшего вождя трудящегося мира — Сталина"! Это им нужно было для воздействия на настроение монголов, для привлечения их симпатии на свою сторону. Так, для большой политической игры большевиков на Востоке, повадилось возвести на бумаге в высший ранг наш несчастный народ!

Но, думается и верится нам, что на этот раз очковтирательством большевики не склонят симпатию народов на свою сторону. Этот ход им послужил однажды хорошую службу, когда, на другой стороне, ген. Деникин своей преступной политикой объявлению войны всем народам, губил и топил освободительную борьбу народов против большевиков.

Хочется нам верить, что наши братья-монголы на такую простую удочку не клюют и, твердо оберегая себя от красного яда, найдут способ, путь и достаточной силы для того, чтобы освободиться окончательно от влияния московских красных палачей.

САНДЖИ БАЛЫКОВ.

ЛЮБОВЬ ОПОЯСАННАЯ

Моей жене Дордже Бадьминовне посвящаю этот рассказ.

Долма оказалась единственной девочкой в станичной школе. Среди шумной оравы драчливых и шалопитных мальчиков, сиротой барашком среди злых волчиц она почувствовала себя.

Только Дордже Одыбноз, единственный из мальчиков, не участвовал в драках и шалостях товарищей. Чистенький и смиренный, заложив руки в карманы черного кафтана, разурмянившись от прохлады пухленькими щечками на чистеньком личике, степенно шел он домой в стороне от воющих мальчишек.

Поэтому маленькая и робкая смуглянка Долма, часто шмыгая носом, молча приблизилась к Дордже и пошла с ним рядом в своем зеленом вапном кафтане, с черной котиковой круглой шапочкой на остриженной копне смольных волос.

Дордже не протянул ее, не толкнул и пожку не подставил, как сделали бы другие. Изредка бросая на нее мягкие и добрые взгляды, он молча прошел с ней весь путь от школы до своего двора.

Когда он повернул с улицы к своему дому, Долма благодарно и ласково улыбнулась ему, и оставшийся до своего двора квартал пробежала бегом. С того разу у них молчаливо наладился порядок — вместе ходить из школы домой.

Они были дети. Второкласснику Дордже Одыбнову, сыну бедных родителей, было двенадцать лет, Пернокласснице Долме Авелькиной, дочери богатого конюшадника, десять лет. Они подружались. Весь путь от школы до двора Одыбнова они проделывали в тихих детских разговорах.

Так провели они две зимы. На третью зиму они не увиделись. Дордже кончил школу. Как первого ученика, станица определила его учиться дальше на общественный счет, и отец отвез его далеко-далеко в русский город, куда нужно день ехать на лошадях и целые сутки поездом.

А родители Долмы в тот год переехали в свою кашару за сотню верст от станицы и наняли Долме домашнюю учительницу.

Друзья — Долма и Дордже — надолго расстались. Но когда Долма вспоминала свою далекую станицу, то она всегда думала о краснощеком мальчишке с приветливыми глазами и чистым личиком. А Дордже, почувшившись в большом шумном русском городе и, скучая по своей тихой станице на Салу, часто видел себя рядом со смуглой, как гаченюк, словоохотливой Долмой с лунчистыми черными узкими глазенками.

Они были дети, но и в детских душах закрепилась привязанность друг к другу.

Прошло девять лет. Многие изменилось за это время в тихой имальной Батлаевской станице на Салу. Умножились красивые разноцветные деревянные домики, почти всюду протянулись деревянные частоты, зазеленела станица садами, гуще стало на гумнах и во дворах. На месте покосившегося маленького домишка, куда бегали учиться Долма и Дордже, стояло прекрасное каменное здание с большими окнами, с садом и огородами, с качелями и высокой лестницей во дворе. В хуруле, окруженный легкими деревянными

ми домиками телюнов, возвышался большой каменный заатоголавый храм. Не по годам, а по месяцам богате-ла и ширилась станция.

Изменились и люди. Из маленькой худенькой галочки, Долма превратилась в стройную миллионную барышню. Она была хорошо грамотна, бойка на язык, но строго, по старинному воспитана доброй матерью в степной глуши, в кашаре на Салу. А Дордже кончила реальное училище и был уже старшим юнкером. Он был высок ростом, грубоват лицом, до черноты смугл.

Тот год был годом великих разрушений, как говорили батлаевцы, «Весною царь сошел с трона и передал царство брату. А брат испугался и пустил на трон целую кучу аблакатов, болтунов и жуликов. К концу лета вышли из тюрем сотни тысяч озверелых арестантов-каторжан. Они разобрали ружейные склады, забрали из фабрик пушки и, выгнав из дворца аблакатов, заняли трон». И пошел гулять по стране разбойник. Пошли грабежи, запыхали зарева пожаров и по степным уголкам, по хutorам и кашарам...

В ту осень вернулась из кашары в станцию Долма и стала лучшей невестой в станции. После рстовских боев, приехал в станцию и юнкер Дордже Ольбинов. Он уже год был женихом дочери соседа. Через месяц предстояла его свадьба.

Но не это Дордже занимало. Засватали ему невесту без его ведома, по старинке. Девцу эту он не любил. Она была проста, робка, молчалива. От жениха, по калмыцкому обычаю, хоронилась. И собою она была не завидна и лицом не красива.

Он узнал, что Долма прекрасной барышней вернулась из степи. Его тянуло посмотреть на друга детства. Проходя мимо их двора, он мельком увидел ее в заборную щель и услышал ее голос. С той минуты еще больше потянуло его к ней.

Проходя по своему просторному двору, или по густому старому саду, Долма невольно бросала взгляды в сторону двора Ольбинова. От подруги и двоюродной сестры по матери, Бони Чагановой, знала она, что Дордже — лучший в станции кавалер, стройный и обходительный с девицами юнкер.

Однажды в сумерках зимнего дня, маленькая десятилетняя сестренка Долмы, таинственно оглядываясь вокруг, подала ей письмо в голубом конверте. То была записка от Дордже.

«Я узнал, что вы — здесь. Очень мне хочется увидеть Вас и посмотреть — какая Вы стали. Много лет прошло, много воды утекло в Салу с тех пор, как мы вместе с Вами бегали в школу, но я не забыл Вас. Хочется увидеть Вас, снова познаться, поболтать. Если Вы добрая барышня, сообщите мне, когда я могу увидеть Вас без присутствия старших, чтобы свободно поговорить. На вечеринках станционной молодежи, говорят, Вы не бываєте по гордости. А я думаю не так. Из всех школьничков, помните, Вы подошли тогда ко мне и пошли рядом. Сделайте мне и теперь исключение. Простите меня за смелость, но я очень и очень прошу не оказывать в моей просьбе.

С почт. уваж. Вас юнкер Дордже Ольбинов.

Теплой волной прокатилась по сердцу Долмы эта записка. Она растерялась и не знала, что нужно делать в таких случаях. Советницы-матери уже не было в живых. Первою мыслью было — побегать с запиской к Бони Чагановой, которая росла в станции и была опычнее ее, но, подумав, раздумала. Решила, было, не отвечать, но ей так хотелось увидеть опять того симпатичного розовощекого мальчишка, который за девять лет не исчез из ее памяти, Она вырвала листок из черной тетрадки и карандашом набросала:

«По вечерам я не выхожу из дому. Завтра, после обеда, перелезте через ограду нашего сада, дойдите до середины и подождите за беседкой Я, после обеда, когда старшие будут отдыхать, выйду к Вам на минутку.

Долма Авелькина».

Проворная и исполнительная сестренка с радостным и таинственным видом побегала с запиской в сторону двора Ольбинова...

Задерживая дыхание, Долма старалась подойти к беседке спокойно и равнодушно, но колотилось бурно непокорное сердце и заливало лицо горячей волной. А когда она обошла беседку, а здоровый, смуглый, грубоватый молодой человек густым басом рявкнул: «Здравствуйте, Долма!» — она невольно тихо ахнула и, недоуменно глядя на незнакомого парня, спросила: «Вы ли Дордже?» «Я-я!... разве не угадываете, забыли?» — радостно отвечал Дордже, протягивая ей руку.

— Ой, Боже, как же вы изменились!... А я шла и думала о том мальчишке, с которым бегала в школу, а вы — здоровый, как мужик — разочарованно отвечала Долма.

— Да, времена меняются, а с ними и люди, изменились и вы здорово, Долма... Кто бы в вас угадал ту маленькую худенькую девочку, что бегала со мной рядом в школу, боясь злых мальчишек. Вы стали прекрасная невеста... только чья... Кто тот счастливцев?!

— Я? Я еще не засватана. Это у вас, говорят, скоро свадьба — с улыбочкой ответила Долма.

— Это правда, но ничего. Невеста мне не по сердцу. Засватали ее без моего согласия мои родители, по старинному обычаю, не спрашивая молодых, а то они забыли, что я — интеллигентный человек, мне нужна любимая жена, друг, а родители шлют рабоче руки... Беда со стариками!...

— Ну, теперь уж поздно вам об этом говорить. Раз подарки покروили и через месяц свадьба, то ваша песня спета... — подтрунила над ним Долма.

— Нет, еще не спета! Я докажу, что дело касается меня и я только должен решить вопрос. Если только вы позволите, я расстрою эту свадьбу! — воскликнул неожиданно Дордже.

— Я?!.. При чем тут я?!

Дордже смутился, покраснел и, то снимая и надевая на одну руку перчатку, заговорил:

— Видите, Долма... я всегда представлял... т. е. думал о вас, как о своей невесте. Не моя вина, что мои родители, как бедняки, побоялись поехать со сватовством к вашим родителям, к богатым коннозаводчикам. Я все время думал о вас, а теперь, как увидел, я готов на все. Скажите только одно слово и я все расстрою....

— Что вы, Бог с вами!... Разве накануне свадьбы можно заводить такие речи? Если говорить правду, то и я не забывала вас... как только подумаю, бывало, о нашей станции, так сейчас и как вспомню. Но теперь уже поздно нам об этом говорить. За месяц до свадьбы другую невесту кто ищет, где это бывало?... Это будет неслыханный скандал! Какие разговоры пойдут, песни сочинят!... На такой скандал и ни за что не пойду, отца не опозорю...

— Постойте, Долма!.. Вы говорите об отце, о людях, а как же мы?... Неужели так и не подумаю о себе? — воскликнул Дордже, перебивая Долму.

— Ну, значит, судьба была такова. За отпущенную черту доли не переищешь, говорится — ответила Долма, ломая в руке сухую ветку.

Дордже юнкер головой.

— А вы, Долма, все-таки, подумайте... А потом мы еще встретимся. Все то, что вы говорите, это пред-рассудки, это отсталость, по таким обычаям жили на-

ли бабушки. Уже наши станичные девицы так не думают, как вы!.. Вы выросли в глуши под влиянием старой матери. Ведь теперь новое время, выросли новые люди. Ради своего счастья мы должны уметь рвать прелесть пути старых обычаев!.. Скажите, зачем нам портить свою жизнь? Я люблю вас, вижу и вы хорошо ко мне относитесь, так зачем нам кришить путь нашей жизни, боясь каких-то разговорок и уличных песен?.. Пусть поют!.. — горячо продолжала настаивать Дордже.

Так нельзя, Дордже!.. Подумайте о той, ни в чем невинной девушке, которая уже привыкла в думах видеть вас своим мужем, а тут, вдруг, я отыму у нее жениха!.. Нет, на это я не согласна. Я больше не буду о вас думать, а вы женитесь на своей невесте и не бунтуйте зря!.. Прощайте, будьте счастливы, а мы с вами останемся добрыми знакомыми, — с этими словами протянула Долма руку.

Потом она резко повернулась на каблуках, отпечатывая в мягкой земле глубокий след, и, понурив голову, быстро пошла к дому.

С глазами полными слез, Дордже остался стоять на месте...

Коротки зимние дни. Быстро мелькают они один за другим. Скоро протелеет время, и до свадьбы Дорджи осталась одна неделя. Еще три раза просид Дордже свидания у Долмы, но записки остались без ответа. Напрасно к Долме пристала сестренка: «Ищи ответ, а то он мне не даст шоколад!»

Грустные дни переживала Долма. Дорджу она любила давно, еще с детских лет. Любовь к розовощекому мальчишке быстро, с первой же встречи, перешла в любовь к стройному, длиннополому кикеру в серой папахе. Узнав, что и Дордже ее любит, вся душа потянулась к нему. Но до боли щипала она себя, кусала до крови губы, и упорной волей глушила чувства. До свадьбы Дорджи она решила его не видеть. Боялась его. А когда до свадьбы осталось всего три дня, она окончательно потеряла покой и не могла спокойно усидеть дома со своими думами. Тогда она пошла к подруге, к Бони Цагановой, чтобы при помощи ее веселья и рассказов избавиться от липких мыслей.

От двора Авелькина до двора Цаганова можно было идти двумя дорогами: открыто, по улице станицы, и скрыто, по берегу Гон-Гол. В болотине с подругой, опоздав на обед, торопливо шла Долма домой по берегу речки. Вдруг она услышала догоняющие ее энергичные шаги и слабый звон шпор. Невольно оглянувшись, она встретилась глазами с Дордже.

— Долма!.. на минутку!.. — услышала его молящий голос.

Закружилась голова у Долмы. Смутно сознавая, что, если не бежать, силы и разум оставят ее, закурила она нижнюю губу до боли и с силой рванулась всем телом и, точно оторвавшись от липкой почвы, легкой серой побежала вперед...

Дордже простоял и остался стоять на месте, с каким-то отравленным взглядом на густую и мутную воду речки. Он видел, что счастье его жизни стремительно убежало от него и что ничего не останется, как повернуться воле родителей, законам и обычаям своей родной среды...

Через неделю Батлаевская гуляла на свадьбе кикера Одыбинова. Был темный, сухой и холодный зимний вечер с устлым бирсом зеленоватых звезд на черном небе. Со стороны двора Одыбинова несся неясный гул голосов, порою долетали обрывки песенного мотива, и из окон землянки свесились огоньки.

Накинув на себя теплый шпотовый тулуп отца, стояла Долма на крыльце своего дома. Она смотрела на огни в окнах землянки Одыбинова. Глубоко, до боли в груди, вздохнув, лица она тихие горячие девичьи

слезы, и завидовала той, которая, под песни и приветственные слова, пошла нынче в ту убогую землянку...

А через неделю пришли в дом Авелькина сваты, и родные Долмы выпили за нее раку от сватов по-казато, но славного боевого офицера.

Была весна. Цвела степь с прежней роскошью. Поднялись и заволновались хлеба на нивах. Но в ту весну бороздили по ним огряды, топтали кони, колесили по ним беспощадно чужие люди, рыли по хлебам окопы. С тяжкими боями казаки и калмыки освобождали донские степи от красного захвата.

Хоружий Дордже Одыбинов был в молодом 3-м Калмыцком полку в лагере Персияновке. Жена его была с ним. Жил он с нею без любви, по мирно. Если не Долма, то ему, как будто, было все равно, с кем жить.

Жених Долмы, командиром лучшей сотни, бился в рядах Зюнгурского Калмыцкого полка, и неслась по станицам слава о нем. Летом должна была состояться их свадьба.

После свадьбы Дордже, Долма скоро взяла себя в руки. К женху своему любви не чувствовала, но всюду она стыдала — какой это хороший и достойный человек. Хоть и старше ее был на двенадцать лет, но был он еще свежий и ловкий офицер, и Долма примирялась с мыслью быть его женою.

Настало скоро и лето. До свадьбы Долмы оставалось дней десять. Родные лихорадочно шили, закупали все и готовились к горькости. Однажды сидел из станичного правления принес Долме письмо в издранным и засаленном конверте.

Это было неожиданное письмо от Дордже. Письмо было большое, на шести больших страницах, оно было проникнуто грустью неудовлетворенной любви и сетованиями на судьбу. Одно место особенно произвело впечатление на Долму и она повторно читала его:

... «Мы с Вами погубили хорошую чистую любовь, которую несли наши сердца с юных лет до сих дней. Большое, одушевленное счастье, ликующая радость предстали нам от взаимной гармонии чувств, но мы с Вами, окутанные предрасудками, опоясанные жгутами старинного быта и обычая, закованные в тиски обывательских предресудов, исказли и исковеркали нашу жизнь. В результате — я женат на женщине, которую не могу еще полюбить; трогательная забота ее и старания — мне нравиться — меня раздражают. Только в темноте, когда не видно ее лица, когда она молчит, я даскаю ее, воображая, что это — Вы, Долма!.. Скоро Ваша свадьба. Ваш жених Вас обожает. Иначе и не могло и быть. Но и Вы (я и этом глубоко уверен!) будете жить с ним так же, как и я со своей женой, только покрепче опоясанный предрасудками. Вы не поддайте нища. А кто в этом виноват? Виш, которая так решиво сватилась за пояс приличия, я, который не сумел Вас настолько увлечь, чтобы заставить Вас решиться на смелый шаг, или мои родители, которые боясь своей бедноты, не решились поехать со сватовством к конозаводчику!.. Ищ, на самом деле, есть какая-то свыше отпущенная судьба, мимо которой не пройдем?.. Или виноваты эти наши устаревшие пути обычаев, которые в последнее время все чаще и чаще стали причиной несчастья молодых сердец...»

Трогательно прочитав это место, глубоко вздохнула Долма. Она утерла невольную слезу и читала дальше: «Скоро ваша свадьба. Как Ваш первый друг, который Виш выискал в образе румянощекого мальчишка в черном кафтане, посылаю Вам от души мои добрые

пожелания. Пусть пошлет Вам Господь душевное спокойствие, мир и счастье. А я в этой жизни не забуду Вас в образе той черной галочки, которая тогда робко подошла ко мне и пошла рядом. Умирая же, буду молить Бога, чтобы в новом рождении, в новом цикле жизни, он соединил нас, Дораже».

От конца письма нашло на Долму какое-то спокойствие, как будто благополучно разрешено для нее какой-то сложный и мучительный вопрос. Спрятав письмо в свою девичью шкатулку, она вошла в молельную комнату и, задвинув перед Буддой душистый ладан, села перед божницей на колени.

«Боги, множество святых на небе, дух моей мамы, дайте мне счастье... Мама, я не сделала того, что хо-

телось сердцу, но что могло рассердить тебя. Так благослови меня, твою любимую дочь... Помоги мне полюбить моего жениха и быть ему хорошей женой, ибо он хороший человек...» — так молилась Долма, все больше и больше успокаиваясь.

Когда она, кончив молиться, вышла на балкон по дороге мимо их двора, ловко сидя на красиво гарцующей гнетой кобылице, затянутой в форму доисского офицера, проезжал ее жених. Увидев ее, он радостно засверкал рядом больших белых зубов и козырнул. Долма приплетливо улыбнулась ему и почувствовала на душе радость и облегчение.

1936-7-1.

С. Балыков.

На воре шапка горит

(Открытое письмо г. И. А. Билому).

Нюня мудрую простонародную поговорку, рекомендующую не трогать «кое-что», я, было, решил никогда не касаться на страницах печати вашего имени. К сожалению, вы упрямно обнаруживаете свое страстное желание наделить меня своими «качествами» и утопить меня в луже воды.

Так, в последнем номере своего журнала «ВК» (191) вы изволили поместить заметку, должествующую «уробить» меня, при этом, пользуясь тем, что у нас нет своей периодической печати, лжете без зазрения совести.

Я был и остаюсь при своем старом убеждении: ложь и демагогия плохие помощники и кто только ими пользуется, обнаруживает лишь свою неправоту.

Что дало вам повод «обрушиться» на меня?

На вашем докладе в Париже в своем слове, между прочим, я осмелился выразить свое несогласие с нижеследующим вашим утверждением: — «Организация жизни вольных казаков за границей может интересовать только нас самих. Никого другого это не интересует. Не интересует это и наших братьев там, которые ждут от нас не того, чтобы мы хорошо устроились за границей (интересно знать, кто так говорит? Ш. Б.), а того, чтобы мы помогли им поскорее сбросить с себя путы московских оккупантов (интересно знать, кто против этого возражает? Ш. Б.). Если бы была организована только жизнь вольных казаков, даже наилучшим образом, основной задачи ВК это не решит ни в какой мере». (Журн. «ВК», № 175).

Я и теперь подтверждаю, что это ваше утверждение (не только утверждение, но и дело, ибо вы всеми мерами разрушаете организацию вольных казаков!) есть политическое преступление перед Вольным Казачеством. Между тем, вы не только остаетесь при этом своем «мнении», «но готовы его еще более усилить» («ВК» № 191).

Казалось бы, вопрос ясен спорить не о чем: я придаю первостепенную важность вопросу организации жизни вольных казаков за границей, а вы столь же решительно считаете ее ненужной, ибо «это никого другого не интересует. Не интересует это и наших братьев там».

Но вы не были бы Билом, если бы не стали разводить демагогию даже по такому ясному вопросу. Прида, для этого вам пришлось навязать мне мысль, никогда мне и не снившаяся. На основании моего несогласия с вышеприведенной вашей «теорией» о ненужности организации, вы пишете следующее:

— «Если г. Балинов недоволен моими утверждениями, то, очевидно (какая догадливость! Ш. Б.), он держится иного мнения. А это иное мнение гласило бы (какая прелесть это наше «гласило бы!» Ш. Б.): орга-

низация жизни вольных казаков за границей может интересовать не только нас самих. Интересует это и многих других, Интересует это и наших братьев там, которые ждут от нас, чтобы мы хорошо устроились за границей... И если будет хорошо организована жизнь вольных казаков за границей, то это и решит основную задачу ВК» («ВК» № 191).

Так бесовски перевернув мою мысль, поставив ее кверх ногами, навязав мне свою болезную фантазию, вы, с торжествующим видом, заявляете: — «Я, конечно, не могу вести ВК движение по пути г. Балинова», т. е. по пути организации вольно-казачьих сил за границей.

В чем же «соль» такого вашего пассажа? В том, что вы с большими муками пытаетесь доказать, что я только о том, мол, и думаю, «чтобы мы хорошо устроились за границей» и совершенно не думаю об «основной задаче», а вы только и заботитесь, как бы спасти Казачество, для чего, по вашему просненному мнению, нет никакой надобности организовывать «жизнь вольных казаков за границей».

Я тут совсем не буду говорить о том, кто из нас и как устривает свою жизнь за границей. Для всякого зрячего и с минимальной совестью вольного казака ясно, что в этом вашем злостьюестве лишний раз подтверждается мудрая народная поговорка: — «на воре шапка горит».

Но необходимо сказать пару слов по поводу вашей «теории» о ненужности организации в. казаков за границей.

Народная мудрость гласит: «что у кого болит, тот о том и говорит». А всем известно, что все ваши помыслы направлены к наилучшему обеспечению своей собственной жизни за границей, а потому совершенно естественно, мера на свой аршин, вы всякое слово об организации жизни вольных казаков вульгаризируете и гнусно его толкуете и смысле желания устроиться за границей.

Между тем, для всякого политически грамотного человека ясен смысл моего утверждения об организации жизни в. казаков. Слишком унижительно было бы пускаться в объяснение такой простой фразы.

Не лукавьте, не лгите, а просто признайтесь, что спор между мною и вами происходит из различного нашего понимания природы в. казаков. Я последних считаю сознательными и активными политическими работниками. А раз так, то что значит требование организации их жизни? Это значит требовать создания сильного, стройного организованного, политического движения для наилучшего разрешения «основной задачи ВК».

Вы же доказываете ненужность подобной организации спорите со мной.